



Александр Грин

Третий этаж

«Public Domain»

1908

Грин А. С.

Третий этаж / А. С. Грин — «Public Domain», 1908

Три отстреливающихся революционера окружены полицией: «На улице зеленели весенние солнечные тени, а в 3-м этаже старинного каменного дома 3 человека готовились умереть...»© FantLab.ru

Содержание

I	5
II	6
III	7
IV	9
V	10

Александр Степанович Грин

Третий этаж

I

На улице зеленели весенние солнечные тени, а в третьем этаже старинного каменного дома три человека готовились умереть неожиданной, насильственной смертью. Весна не волновала их, напротив, они плохо сознавали даже, грезят или живут. А внимание каждого, острое до боли, сосредоточивалось на своем оружии и на том, что делается внизу, на каменном, веселом, солнечном тротуаре.

В обыкновенное время они, конечно, поразились бы тем, что вся улица, от вокзала до рынка, погружена в страшную, удушливую тишину, как это бывает во сне... Ни людей, ни собак. Везде наглухо закрытые испуганные окна, и фасады домов прислушиваются, как замкнутые, чужие лица. Немые деревья стелют сетки теней. Недвижна пыль мостовой, спит воздух.

И обратили бы еще они свое внимание на то, что тихая пустота улицы обрывается как раз у каменного старинного дома, обрывается с обеих сторон аккуратно, как по линейке, там, где на серых солнечных плитах шевелятся белые, строгие солдатские рубашки с красными погонами и, падая гулким эхом от веселых, солнечных стен, бухают торопливо и резко ружейные выстрелы.

Три человека не думали этого. Теперь казалось, что так и надо, что иначе и не бывает. И не слышали они тишины, а только выстрелы. Каждый выстрел летел в уши, как удар ветра, и кричал, кричал на весь мир.

Так страшно еще не было никогда. Раньше, думая о смерти и, с подмывающей радостью, с легким хохотком крепкого, живого тела оглядываясь вокруг, они говорили: «Э! Двум смертям не бывать!» Или: «От смерти не уйдешь!» Или: «Человек смертен». Говорили и не верили. Теперь знали, и знание это стоило жизни.

Знали. Комната, где были они, служила жизни. Все кругом приспособлено для жизни: стол, накрытый скатертью, с неубранной, веселой в солнечном свете посудой; маленькие, потемневшие картины, уютная мебель. А жизнь неудержимо уходит из пустых комнат. Под ногами валяется портсигар, растоптанные папиросы, лежит сорванная, смятая занавеска. И много, очень много пустых медных патронов. Они везде: на ковре, на стульях. Хрустит обувь, встречая обломки стекол, визгливо-хрупкие, скрежещущие. Стекла в рамках торчат зубцами. Они разбиты.

Дым туманом наполняет комнату, скользит в окно, страшно медленный, и удушливо, невкусно пахнет. Трах-трах!.. Выглянуть опасно. Ежеминутно чмокают пули, кирпич брызжет во все стороны красной пылью. Там, внизу, мало разговаривают и, должно быть, сердятся. Кто-то кричит возбужденно, коротко; наступает молчание и снова: «трах-трах!..»

После каждого выстрела жутко подступает мгновенная беспощадная тишина. И тянется она скучно, как столетие.

II

Три человека, засевшие в третьем этаже, не знали друг друга. Случайно сошлись они, преследуемые правительственным отрядом, в квартире одного знакомого, заперли двери, окна; мельком, с безразличием страха, осмотрели друг друга, бросили несколько проклятий и стали отстреливаться.

Сознание того, что стрельба эта бесполезна, что умереть все равно придется, что выходы заняты полицией, у них было, и по временам закипало в душе бессильными, протестующими взрывами ужаса. Но ожидать конца, суесться, волнуясь и сопротивляясь, было все-таки легче, чем немая покорность неизбежному, – и они стреляли.

Два карабина было у них, два дальнобойных, охотничьих карабина с тонкой резьбой лож и витыми дамасскими стволами. Раньше они висели на стене среди другого оружия – живое воспоминание веселых, безопасных охот. А третий стрелял из револьвера, наудачу посылая пули, пока не свалился сам, раненный в ключицу, и не затих. Лежал он смиренно, полный тоски, боясь шевельнуть отнявшейся рукой, чтобы не вскрикнуть. Видел высокий лепной потолок, ноги товарищей и думал о чуде.

Те двое стреляли из карабинов, бегая от окна к окну и прячась за подоконниками. Их резкие выстрелы звучали неуверенно, но били почти без промаха, и после каждого выстрела одна из белых, веселых рубах с красными погонами, – такая маленькая, если смотреть сверху, – оживлялась, кружилась и, приседая, падала, звякнув штыком. А те двое стреляли, и каждый раз с тупой, радостной дрожью смотрели на дело своих рук.

Первого звали «Мистер», потому что он был в Англии и привез оттуда замкнутую сдержанность островитянина. Был он высокого роста, печальный и смуглый. Второй – плотный мужчина с окладистой бородой и кроткими глазами – называл себя «Сурком», потому, что так называли его другие. А третий, раненный, носил кличку «Барон».

Каменное молчание пропитывало все этажи, кроме третьего. Казалось, что никогда никто, кроме мышей, не жил и не будет жить в этом доме, и что самый дом – огромное, сплошное недоразумение с каменными стенами, полными страха и тоски.

III

Отстреливались и судорожно, беспокойно думали. Растерянно думал Мистер. Наяву грезил Барон. Тяжело и сосредоточенно думал Сурок.

Там, за чертой города, среди полей и шоссе́йных дорог – его жена. Любимая, славная. И девочка – пухленькая, смешная, всегда смеется. Белый домик, кудрявый плющ. Блестящая медная посуда, тихие вечера. Никогда не увидеть? Это чудовищно! В сущности говоря, нет ничего нелепее жизни. А если пойти туда, вниз, где смеется веселая улица и стреляют солдаты, выйти и сказать им: «Вот я, сдаюсь! Я больше не инсургент¹. Пожалейте меня! Пожалейте мою жизнь, как я жалею ее! Я ненавижу тишину жизни – теперь благословляю ее! Прежде думал: пойду туда, где люди смелее орлов. Скажу: вот я, берите меня! Я раньше боялся грозы – теперь благословляю ее!.. О, как страшно, как тяжело умирать!.. Я больше не коснусь политики, сожгу все книги, отдам все имущество вам, солдаты!.. Господин офицер, сжальтесь! Отведите в тюрьму, сошлите на каторгу!..»

Нет, это не поможет. Веселые белые рубахи станут еще веселее, грубый хохот покроет его слова. Поставят к стене, отсчитают пятнадцать, – или сколько там?.. – шагов. Убьют слюнявого, жалкого, когда мог бы умереть с честью.

Значит, теперь уже все равно? Так кричим же!

И Сурок крикнул глухим, перехваченным тоской голосом:

– Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Как бы говоря сам с собой, ответил Мистер:

– Вот история!.. Кажется, придется сдохнуть.

Он в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько, за что: за централизованную или федеративную республику. Так как-то сложилось все наспех, без уверенности в победе, среди жизни, полной борьбы за существование и политической агитации. Думать теперь, собственно говоря, не к чему: остается умереть. Воспоминание о том, что оружие случайно попало ему в руки, ему, желавшему бороться только с помощью газетных статей, – теперь тоже, конечно, ни к чему. Все брали. Сломали витрину и брали, дрались, хватали жадно, наперебой. Потом многие бросили тут же, едва отойдя несколько шагов, великолепные ружья и сабли, взятые ими неизвестно для чего.

Стиснув зубы, закуришь дрожащими пальцами папиросу и стрелять – это последнее.

И Мистер зачем-то спросил:

– Как вы думаете, который теперь час?

– Час? – Сурок посмотрел на него блуждающим, испуганным взглядом. – Я думаю, что этого не следует знать. Все равно.

И крикнул с остервенением, нажимая курок:

– Свобода! Ура-а!..

Звонкая, светлая тишина.

– Они окружают дом, – говорит Мистер, вздыхая. – И уморят нас.

– Они побоятся войти.

– Почему вы это думаете?

– Я чувствую... Привезут пушку и разнесут нас, как мышей.

– А-а! – удивленно говорит Барон, инстинктивно прижимаясь к стене. Пуля ударила в потолок, раздробила лепное украшение, и кусок гипса, с полфунта весом, упал рядом с его головой.

¹ Инсургент – повстанец.

– А я думал, что спрятался!..

Мистер смотрит на него взглядом, выражающим представление о себе самом, раненном и лежащем врастяжку так же, как этот костлявый, длинный юноша с голубыми глазами. Барон улыбается, закрывает глаза и сейчас же открывает их. Смотреть легче и не так страшно. Скоро ли спасут их? Несомненно, несомненно спасут, но кто? И когда? Вот этого-то никак нельзя понять.

Ттрах-та-тах! Бах!..

Как будто с налета воздушный молоток вбивает гвозди и падает вниз, оставляя на потолке и на стенах маленькие, глубокие дырки. Они, верно, еще теплые, если потрогать их.

– Досадно то... – начинает Барон.

Он ждет, но его не спрашивают, что досадно. Те двое отскакивают, прячась за подоконниками, и, трепеща от возбуждения, стреляют вниз. Глухие, смятенные звуки вырываются из горла. «Бах! Бах!» Должно быть, пришли еще солдаты.

А где же те, жившие здесь? Комнаты пусты, и от этого еще огромнее, еще скучнее. Как Барон не заметил ухода квартирантов? Странно! Когда прибежали они трое, с белыми, перекошенными лицами, – оживленный шум смолк, кто-то заплакал горько, навзрыд, и вдруг стало пусто. Потом хлопнули двери, упало что-то и – тишина. Вот стакан с недопитым желтым чаем. Сейчас придут, расстреляют... Как досадно, что...

– Я не могу стрелять, – вслух доканчивает Барон начатую фразу.

Стрелять – это значит убивать тех, кто там, внизу, где солнце и теплый ветер. Но ведь и его могут ранить, убить, и опять он растянется тут, дрожа от жгучей, нарастающей боли. Значит, зачем стрелять?

Чепуха лезет в голову. А если притвориться мертвым и, когда ворвутся солдаты, затаить дыхание?

Детская, наивная радость пьянит голову Барона. Вот оно спасение, чудо!.. Его возьмут, бросят на фургон, отвезут в манеж. Но ведь его схватят за раздробленную руку. Разве он не закричит, как сумасшедший, лающим, страшным голосом?

– Да, черт побери, да! Все равно...

Слабость и туман, и жар. Чем-то колотят в голову: Бух! Бух!..

IV

– Товарищи! – говорит Сурок тонким, осекающимся голосом. – Час смерти настал!

Барон с усилием открывает глаза. Сурок присел на корточки и смотрит на юношу, пугливо улыбаясь собственным невероятным словам.

– А-а... – говорит Барон. – Да-а...

– Настал, – строго повторяет Сурок и, проглотив что-то, добавляет вполголоса: – Пушка.

– Ага! – сразу страшно возбуждаясь и цепenea, неистовым, не то веселым, не то молящим голосом подхватывает Барон. – Ага! Вот...

Неприятный, клокочущий крик заглушает его голос. Сурок удивленно оборачивается нервным, коротким движением корпуса. Впрочем, это Мистер запел «Марсельезу». Вероятно, он никогда не пел, потому что сейчас страшно фальшивит. Он увидел пушку и запел. А по временам, останавливаясь, кричит:

– О, храбрецы! Эй, вы! Моя грудь – вот! Грудь моя!..

Белая волосатая грудь. Барон морщится. Зачем кричать? Так тяжело, гадко.

– Перестаньте, прошу вас! Пожалуйста!..

Глубокая, светлая тишина. Шатаясь, подходит Мистер. Он потрясен, изумлен. Значит, все кончено?

– Все кончено, – говорит Сурок. – Зачем вы плачете?

– Как? – поражается Барон. – Я плачу? Чудак!..

V

Коснувшись щеки здоровой рукой, Барон убеждается, однако, что она мокра от слез. И начинает жалостно тихо рыдать, взвизгивая, как брошенный щенок.

Глубокая, нестерпимая жалость к себе сотрясает тело. А спасение, а жизнь, полная красивых случайностей? Пушка. Ведь это же смешное слово. Что-то кургузое, с мелкими старинными украшениями. Медный неповоротливый чурбан, позеленевший чурбан.

Тоскливый грохот внизу, там, за окном. Щелкнули, переступив, копыта. А они сидят здесь, трое, прижавшись к стене. Бесплезная стрельба кончена.

– Устанавливают орудие, – говорит Мистер. – Теперь держись!

Орудие – да, это не пушка, правда. Длинное, блестящее, отполированное, с круглым отверстием. Дальнобойная машина. Барон поднимает голову.

– Отчего я должен умереть? А! Отчего?..

– Оттого, что вы хнычете! – злобно обрывает Мистер. – А? А отчего вы хнычете? А? Отчего?..

Барон вздрагивает и затихает, всхлипывая. Еще есть время. Молчать страшно. Надо говорить, говорить много, хорошо, проникновенно. Рассказать им свою жизнь, скудную, бедную жизнь, без любви, без ласки. Развернуть опустошенную душу, заглянуть туда самому и понять, как все это вышло.

Революция – какое могучее слово! Конечно, он взялся за нее не потому, чтобы верил в спасительность республиканского строя. Нет! Люди везде скоты. Но ведь в ней так много жизни, движения, подъема. О смерти, разумеется, не было и мысли; напротив, мысли все были веселые, полные жизни, сладкие, поэтические мысли. Как все это запутано, сложно! Если бы он не хотел жить, не томился по яркой, интересной, сложной жизни, разве сделался бы он революционером? Да нет же, нет!.. И как сделать, чтобы жить, не умирая, всегда?

Сурок встал, подошел к окну, выглянул в него и присел, почти упал. Сейчас все кончится. Прямо на него снизу уставились немигающим, слепым взглядом черные дула. Показал пальцем и сказал что-то солдату солдат. Но ведь там, дальше, за морем разноцветных крыш, где клубится дорожная пыль, стоит маленький белый домик, вьется плющ; у окна сидит женщина и держит на коленях пухленькую забавницу. Значит, совершенно непоправимо?

Кончено! О, как тяжело, смертельно тяжело там, внутри! Ну, все равно!

На столе, среди посуды и газет, лежит ненужный, остывший карабин. Патронов нет. Да здравствует веселое безумие! Да здравствует родина!

Должно быть, последние слова он выкрикнул, потому что их повторил Мистер отчетливым, звонким криком. А если отдать родину, отдать все за маленький белый домик?

– Слушайте! Слушайте! – напрягает слабый голос Барон, дрожа от бессильной жалости и тоски. – Товарищи!..

– Будем бесстрашны, – говорит Сурок. – Мистер! Мы умрем, как честные граждане!..

– Конечно, – шепчет Мистер. – Руку!..

Они жмут друг другу холодные, сырые руки, бешено сдавливая пальцы. Глаза их встречаются. Каждый понимает другого. Но ведь никто не узнает ни мыслей их, ни тоски. Правда не поможет, а маленький, невинный обман – кому от него плохо? А смерть, от которой не увернешься, скрасится хриплым, отчаянным криком, хвалой свободе.

– Да здравствует родина!..

– О, они найдут только наши трупы, – говорит Мистер, – но мы не умрем! В уме и сердце грядущих поколений наше будущее!

Бледная, тоскливая улыбка искажает его лицо. Так когда-то начинались его статьи, или приблизительно так. Все равно.

Барон подымается на локте. Торжественный, страшный миг – смерть, и эти два глупца хотят уверить себя, что смерть их кому-то нужна? И вот сейчас же, сейчас отравить их торжественное безумие нелепостью своей жизни, ненужной самому себе политики и отчаянным, животным страхом! Как будто они не боятся! Не хотят жить?! Лгуны, трусы!..

Мгновение злорадного колебания, и вдруг истина души человеческой, острая, как лезвие бритвы, пронизывает мозг Барона:

Да... для чего кипятиться? Разве ему это поможет?

На улице плывут шорохи, ползают далекие голоса. Вот-вот... может быть, уже целят. Все равно!

Трусы они или нет, кто знает? Жизнь их ему неизвестна. А слова их – красивые, стальные щиты, которых не пробить истерическим криком и не добаться до сердца. Замирает оно от страха или стучит ровно, не все ли равно? Есть щиты, легкие, звонкие щиты, пусть!

И он умрет все равно, сейчас. А если, умирая, крикнет те же слова, что они, кто узнает мысли его, Барона, его отчаяние, страх и тоску? Никто! Он плакал? Да! Но плакал просто от боли.

– Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Три голоса слились вместе. И души, полные агонией смерти, в тоске о жизни и счастье судорожно забились, скованные короткими, хриплыми словами.

А на улице опрокинулся огромный железом нагруженный воз, громыхнули, содрогнувшись, стены, и дымные, уродливые бреши, вместе с тучами кирпичей и пыли, зазияли в про стенках третьего этажа.